

Р о с с и й с к а я  
национальная премия

*«Поэт»*

ШЕОШ

*Общество поощрения  
русской словесности*

Российское открытое  
акционерное общество  
энергетики и электрификации  
*«ЕЭС России»*



РАО "ЕЭС России"

*Александр  
Кушнер*

В честь  
присуждения  
Российской  
национальной  
премии  
*«Поэт»*

2 0 0 5

*Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии при поддержке РАО «ЕЭС России» в апреле 2005 как награда за наивысшие достижения в современной русской поэзии.*

*Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно к их национальности и месту проживания. Премия может быть присуждена одному лицу только один раз. Разделение премии между двумя или более лауреатами и присуждение премии посмертно не предусматривается.*

*Право номинации (выдвижения на соискание премии) принадлежит только членам Попечительского совета Общества поощрения русской поэзии, созданного по инициативе группы литературных критиков и литературоведов при поддержке РАО «ЕЭС России».*

*Имя лауреата определяется тайным голосованием жюри, состоящего из членов Попечительского совета, либо формируемого по его решению.*

*Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение, сумма которого эквивалентна 50 000 долларов США.*

*Помимо присуждения российской национальной премии «Поэт», Общество поощрения русской поэзии намерено развернуть широкую деятельность по привлечению общественного внимания к современной поэзии, поощрению творчества молодых, ярко заявивших о себе поэтов, а также исследований в области классической и современной русской литературы.*

ИОСИФ БРОДСКИЙ  
*об Александре Кушнере*

Время, потраченное на предисловие, есть время, украденное у чтения, и поэтому я буду краток.

На этих страницах вы окажетесь *tete-a-tete* с поэзией в чистом виде, чистейшем из всех, какие существуют в русском языке — и прозе здесь делать нечего.

Александр Кушнер — один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский.

Тридцать лет в поэзии — срок немалый. Это больше, чем творческий путь Хлебникова, Маяковского; это по длине равняется примерно творческой жизни Мандельштама. Мы не видим своих современников, потому что они наши современники, мы не размышляем о них в категориях времени. Мы рассматриваем их как равных и не отдаем себе отчета в проделанном ими пути, не рассматриваем их ретроспективно.

За эти тридцать с лишним лет Кушнер проделал путь необычайный. Жизнь его внешними событиями не богата и в стандартную поэтическую биографию не укладывается. Поэтическими биографиями — преимущественно трагического характера — мы прямо-таки развращены, в этом столетии в особенности. Между тем биография, даже чрезвычайно насыщенная захватывающими воображение событиями, к литературе имеет отношение чрезвычайно отдаленное. Существует подобная зависимость между судьбой и искусством на самом деле, литература XX века — русская во всяком случае — представляла бы собой иную картину. Можно отсидеть двадцать лет в лагере или пережить Хиросиму и не написать ни строчки, и можно, не обладая никаким опытом, кроме мимолетной влюбленности, написать «Я помню чудное мгновенье».

Искусство тем и отличается от жизни, что не берет у нее уроки, ему у такого многословного учителя нечему научиться. У искусства — свое прошлое, свое настоящее, свое будущее, своя логика и динамика. И биография поэта — это биография — вся история! — искусства, биография материала. Точнее — биография поэта в том, что он делает с доставшимся ему материалом, она в его выборе средств, в его размерах и рифмах, в строфах, в точках и запятых, в его интонации, в его дикции — в том, что он в доставшемся ему в наследство материале выбирает.

За тридцать с лишним лет Александр Кушнер выпустил 11 книг. При всем их тематическом разнообразии, их стилистическое единство, единство кушнеровской поэтики — феноменально. Если что и роднит в конце концов поэзию с жизнью, так это то, что и в поэзии выбор средств важнее, чем цель, которую человек провозглашает. Я не открою Америки — тем более России — сказав, что поэтика и есть содержание.

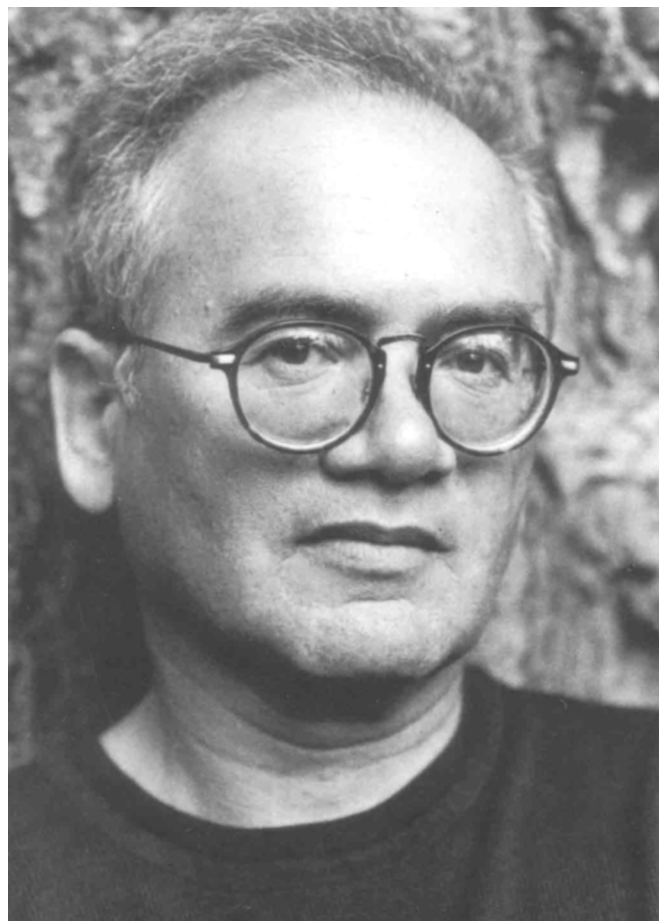
Любой разговор о кушнеровской родословной кажется мне не столь существенным. Для поэта его масштаба нет необходимости украшать свою комнату портретами Пушкина, Фета, Анненского и Кузмина. Но, возможно, кое-что следует объяснить в прихожей: поэтика Кушнера есть, несомненно, сочетание поэтики «гармонической школы» и акмеизма. В наше время, сильно загаженное дурно понятым модернизмом, выбор этих средств свидетельствует не только о душевной твердости их выбравшего, он указывает прежде всего на органическую естественность для русской поэзии самих этих средств, на их универсальность, на их жизнеспособность. Я бы даже сказал, что не Кушнер средства эти выбрал, но они выбрали Кушнера, чтобы продемонстрировать в сгущающемся хаосе способность языка к внятности, сознания — к трезвости, зрения — к ясности, слуха — к точности. Иными словами, — чтобы продемонстрировать выносливость вида, его — и самих этих средств — неуязвимость.

Стихам Кушнера присуща сдержанность тона, отсутствие истерики, широковещательных заявлений, нервической жестикоуляции. Он скорее сух там, где другой бы кипятился, ироничен там, где другой бы отчаялся. Поэтика Кушнера, говоря коротко, поэтика стоицизма, и стоицизм этот тем более убедителен и, я бы добавил, заражающ, что он не результат рационального вы-

бора, но суть выдох или послесловие невероятно напряженной душевной деятельности. В стихотворении свидетельством душевной деятельности является интонация. Говоря точнее, интонация в стихотворении — суть движения души. Механизмом и двигателем всякого кушнеровского стихотворения служит именно интонация, подчиняющая себе содержание, образную систему, прежде всего — стихотворный размер. Механизм или, точнее, двигатель этот — не паровой и не реактивный, но внутреннего сгорания, что есть, пожалуй, наиболее емкое определение формы существования души и что сообщает этому двигателю характеристику вечного.

Одиннадцать книг Кушнера, вышедшие за тридцать с лишним лет там, где они вышли, свидетельствуют, на мой взгляд, даже не столько о выносливости этого двигателя, сколько о неизбежности его существования — неизбежности большей, чем та или иная политическая система, больше даже, чем сама плоть, в которую он облечен. Не ими двигатель этот был изобретен, не им его и остановить. Поэзия суть существование души, ищущее себе выхода в языке, и Александр Кушнер тот случай, когда душа обретает выход.

*22 августа 1990 года*



*Александр Кушнер*

восемнадцать  
стихотворений

МОЭТ

МОЭТ

\* \* \*

Времена не выбирают,  
В них живут и умирают.  
Большей пошлости на свете  
Нет, чем кланчить и пенять.  
Будто можно те на эти,  
Как на рынке, поменять.  
Что ни век, то век железный.  
Но дымится сад чудесный,  
Блещет тучка; я в пять лет  
Должен был от scarлатины  
Умереть, живи в невинный  
Век, в котором горя нет.  
Ты себя в счастливцы прочишь,  
А при Грозном жить не хочешь?  
Не мечтаешь о чуме  
Флорентийской и проказе?  
Хочешь ехать в первом классе,  
А не в трюме, в полутьме?  
Что ни век, то век железный.  
Но дымится сад чудесный,  
Блещет тучка; обниму  
Век мой, рок мой на прощанье.  
Время — это испытанье.  
Не завидуй никому.  
Крепко тесное объятье.  
Время — кожа, а не платье.  
Глубока его печать.  
Словно с пальцев отпечатки,  
С нас — его черты и складки,  
Приглядевшись, можно взять.

1 9 7 6

\* \* \*

Как клен и рябина растут у порога,  
Росли у порога Растрелли и Росси,  
И мы отличали ампир от барокко,  
Как вы в этом возрасте ели от сосен.  
Ну что же, что в ложноклассическом стиле  
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане  
Сгустившемся, глядя на автомобили,  
Стоит в простыне полководец, как в бане?  
А мы принимаем условность как данность.  
Во-первых, привычка. И нам объяснили  
В младенчестве эту веселую странность,  
Когда нас за ручку сюда приводили.  
И эти могучие медные складки,  
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,  
В таком безупречном ложатся порядке,  
Что в детстве внушают доверие к миру,  
Стремление к славе. С каких бы мы точек  
Ни стали смотреть — всё равно загляденье.  
Особенно если кружится листочек  
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

1 9 7 6

## КУСТ

Евангелие от куста жасминового,  
Дыша дождем и в сумраке белея,  
Среди аллей и звона комариного  
Не меньше говорит, чем от Матфея.  
Так бел и мокр, так эти грозди светятся,  
Так лепестки летят с дичка задетого.  
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства  
Чудес нужны еще, помимо этого.  
Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,  
И сам готов кого-нибудь обидеть.  
Но куст тебя заденет, бесноватого,  
И ты начнешь и говорить, и видеть.

1975

\* \* \*

Конверт какой-то странный, странный,  
Как будто даже самодельный,  
И штемпель смазанный, туманный,  
С пометкой давности недельной,  
И марка странная, пустая,  
Размытый образ захолюстья:  
Ни президента Уругвая,  
Ни Темзы, — так, какой-то кустик.  
И буква к букве так теснятся,  
Что почерк явно засекречен.  
Внизу, как можно догадаться,  
Обратный адрес не помечен.  
Тихонько рву конверт по краю  
И на листе бумаги плотном  
С трудом по-русски разбираю  
Слова в смятенье безотчетном.  
«Мы здесь собрались кругом тесным  
Тебя заверить в знак вниманья  
В размытом нашем, повсеместном,  
Ослабленном существованье.  
Когда ночами (бред какой-то!)  
Воюет ветер с темным садом,  
О всех не скажем, но с тобой-то,  
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.  
Не спи же, вглядывайся зорче,  
Нас различай поодиночке».  
И дальше почерк неразборчив,  
Я пропускаю две-три строчки.  
«Прощай! Чернила наши блеклы,  
А почта наша ненадежна,  
И так в саду листва намокла,  
Что шага сделать невозможно».

1969



\* \* \*

Человек привыкает  
Ко всему, ко всему.  
Что ни год получает  
По письму, по письму.  
Это в белом конверте  
Ему пишет зима.  
Обещанье бессмертья —  
Содержанье письма.  
Как красив ее почерк!  
Не сказать никому.  
Он читает листочек  
И не верит ему.  
Зимним холодом дышит  
У реки, у пруда.  
И в ответ ей не пишет  
Никогда, никогда.

1970

\* \* \*

Придешь домой, шурша плащом,  
Стирая дождь со щек:  
Таинственна ли жизнь еще?  
Таинственна еще.  
Не надо призраков, теней:  
Темна и без того.  
Ах, проза в ней еще странней,  
Таинственней всего.  
Мне дорог жизни крупный план,  
Неровности, озноб  
И в ней увиденный изъяс,  
Как в сильный микроскоп.  
Биолог скажет, винт кружа,  
Что взгляда не отвести.  
— Не знаю, есть ли в нас душа,  
Но в клетке, — скажет, — есть.  
И он тем более смущен,  
Что в тайну посвящен.  
Ну, значит можно жить еще.  
Таинственна еще.  
Придешь домой, рука в мелу,  
Как будто подпирал  
И эту ночь, и эту мглу,  
И каменный портал.  
Нас учат мрамор и гранит  
Не поминать обид,  
Но помнить, как листва летит  
К ногам кариатид.  
Как мир качается — держись!  
Уж не листву ль со щек  
Смахнуть решили, сделав жизнь  
Таинственней еще?

1976

\* \* \*

Какое чудо, если есть  
Тот, кто затеплил в нашу честь  
Ночное множество созвездий!  
А если всё само собой  
Устроилось, тогда, друг мой,  
Еще чудесней!  
Мы разве в проигрыше? Нет.  
Тогда всё тайна, всё секрет.  
А жизнь совсем невероятна!  
Огонь, несущийся во тьму!  
Еще прекрасней потому,  
Что невозвратно.

1 9 7 4

\* \* \*

Сентябрь выметает широкой метлой  
Жучков, паучков с паутиной сквозной,  
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,  
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,  
Их круглые линзы, бинокли, очки,  
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,  
Их усики, лапки, зацепки, крючки,  
Оборки, которые были к лицу.  
Сентябрь выметает широкой метлой  
Хитиновый мусор, наряд кружевной,  
Как если б директор балетных теплиц  
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.  
Сентябрь выметает метлой со двора  
За поле, за речку и дальше, во тьму,  
Манжеты, застежки, плащи, веера,  
Надежды на счастье, батист, бахрому.  
Прощай, моя радость! До кладбища ос,  
До свалки жуков, до погоста слепней,  
До царства Плутона, до высохших слез,  
До блеклых, в цветах, элизийских полей!

1 9 7 5

\* \* \*

На выбор смерть ему предложена была.  
Он Цезаря благодарил за милость.  
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,  
Пока он выбирал, топталась и томилась,  
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:  
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.  
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?  
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.  
У греков — жизнь любить, у римлян — умирать,  
У римлян — умирать с достоинством учиться,  
У греков — мир ценить, у римлян — воевать,  
У греков — звук тянуть на флейте, на цевнице,  
У греков — жизнь любить, у греков — торс лепить,  
Объемно-теневою, как туча в небе зимнем,  
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.  
У греков — воск топить и умирать — у римлян.

1 9 8 0

\* \* \*

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить.  
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.  
О, как она тянется, звездная тонкая нить,  
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!  
До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем  
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться  
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.  
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.  
Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!  
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться  
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.  
О, нацеловаться! А главное, наговориться!  
За тысячи лет золотого молчанья, за весь  
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.  
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.  
О тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.  
О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли  
В стихах его римских, спугнув вековую истому?  
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,  
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

1 9 8 4

## ВОСПОМИНАНИЯ

Н. В. была смешливою моей  
подругой гимназической (в двадцатом  
она, эс-эр, погибла), вместе с ней  
мы, помню, шли весенним Петроградом  
в семнадцатом и встретили К. М.,  
бегущего на частные уроки,  
он нравился нам взрослостью и тем,  
что беден был (повешен в Таганроге),  
а Надя Ц. ждала нас у ворот  
на Ковенском, откуда было близко  
до цирка Чинизелли, где в тот год  
шли митинги (погибла как троцкистка),  
тогда она дружила с Колей У.,  
который не политику, а пенье  
любил (он в горло ранен был в Крыму,  
попал в Париж, погиб в Сопротивленье),  
нас Коля вместо митинга зазвал  
к себе домой, высокое на диво  
окно смотрело прямо на канал,  
сестра его (умершая от тифа)  
Ахматову читала наизусть,  
а Боря К. смешил нас до упаду,  
в глазах своих такую пряча грусть,  
как будто он предвидел смерть в блокаду,  
и до сих пор я помню тот закат,  
жемчужный блеск уснувшего квартала,  
потом за мной зашел мой старший брат  
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало...

1979

\* \* \*

*...тише воды, ниже травы...*

А. Блок

Когда б я родился в Германии в том же году,  
Когда я родился, в любой европейской стране:  
Во Франции, в Австрии, в Польше, — давно бы в аду  
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,  
Но мне повезло — я родился в России, такой,  
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,  
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,  
Кромешной — и выжить был все-таки шанс у меня.

И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,  
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.  
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть  
С гербом и печатью районного загса билет  
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы  
И тише воды. Средь безумного вихря планет!  
И смотрит бесслёзно, ответа не зная, увы,  
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.

1995

\* \* \*

*Я список кораблей прочел до середины...*

О. Мандельштам

Мы останавливали с тобой  
Каретоподобный кэб  
И мчались по Лондону, хвост трубой,  
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!  
И сорили такими словами, как  
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,  
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,  
Подавая плохой пример.  
Твой английский слаб, мой французский плох.  
За кого принимал шофер  
Нас? Как если бы вырицкий чертополох  
На домашний ступил ковер.  
Или розовый сиверский иван-чай  
Вброд лесной перешел ручей.  
Но сверх счетчика фунт я давал на чай —  
И шофер говорил: «О'кей!»  
Потому что, наверное, сорок лет  
Нам внушали средь наших бед,  
Что бессмертия нет, утешенья нет,  
А уж Англии точно нет.  
Но сверкнули мне волны чужих морей,  
И другой разговор пошел...  
Не за то ли, что список я кораблей,  
Мальчик, вслух до конца прочел?

1991

\* \* \*

Верю я в Бога или не верю в бога,  
Знает об этом вырицкая дорога,  
Знает об этом ночная волна в Крыму,  
Был я открыт или был я закрыт ему.

А с прописной я пишу или строчной буквы  
Имя его, если бы спохватились вдруг вы,  
Вам это важно, Ему это все равно.  
Знает звезда, залетающая в окно.

Книга раскрытая знает, журнальный столик.  
Не огорчайся, дружок, не грусти, соколик.  
Кое-что произошло за пять тысяч лет.  
Поизносился вопрос, и поблёк ответ.

И вообще это частное дело, точно.  
И не стоячей воде, а воде проточной  
Душу бы я уподобил: бежит вода,  
Нет, — говорит в тени, а на солнце — да!

1998

\* \* \*

Долго руку держала в руке  
И, как в давние дни, не хотела  
Отпускать на ночном сквозняке  
Его легкую душу и тело.

И шепнул он ей, глядя в глаза:  
Если жизнь существует иная,  
Я подам тебе знак — стрекоза  
Постучится в окно золотая.

Умер он через несколько дней.  
В хладном августе реют стрекозы  
Там, где в пух превратился кипрей, —  
И на них она смотрит сквозь слезы.

И до позднего часа окно  
Оставляет нарочно открытым.  
Стрекоза не влетает. Темно.  
Не стучится с загробным визитом.

Значит, нет ничего. И смотреть  
Нет на звезды горячего смысла.  
Хорошо бы и ей умереть.  
Только сны и абстрактные числа.

Но звонок разбудил в два часа —  
И в мобильную легкую трубку  
Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,  
Как сквозь тряпку сказал или губку.

.....

Я-то думаю: он попросил  
Перед смертью надежного друга,  
Тот набрался отваги и сил:  
Не такая большая услуга.

2 0 0 4

\* \* \*

Мир становится лучше, — так нам говорит Далай-Лама.  
Постепенно и медленно, еле заметно, упрямо,  
Несмотря на все ужасы, как он ни мрачен, ни мглист,  
Мир становится лучше, и я в этом смысле — буддист.

И за это меня кое-кто осуждает; не знаю,  
Почему я так думаю, — это особенно к маю  
Убежденье во мне укрепляется, с первой листвой:  
Мир становится лучше, прижми его к сердцу, присвой!

А еще говорит Далай-Лама (когда собеседник  
Спрашивает его, кто преемник его и наследник),  
Что какой-нибудь мальчик, родившись в буддийской семье,  
Может стать Далай-Ламой, — всё дело в любви и в уме.

Сам-то он появился на свет в 35-м, в Тибете,  
И цветы собирал, и капризничал он, как все дети,  
Только в 37-м (цвел жасмин и гудела пчела)  
Поисковая группа его в деревушке нашла.

Скоро, скоро ему предстоит путешествие в скрытой  
Форме, смертью устроенной, шелковой тканью подбитой,  
Года два проведет он в посмертных блужданиях, пока  
Не поселится в мальчике прочно и наверняка.

Обязательно в мальчике? — Нет, почему же? Программа  
Отработана так, что и девочкой стать Далай-Лама  
Может в новом своем воплощении... Вьюнок, горицвет,  
Голубой гиацинт... Захотелось увидеть Тибет.

Захотелось, чтоб мирно китайцы ушли из Тибета,  
Чтобы смог Далай-Лама увидеть тибетское лето,  
Умереть во дворце своем в легкий предутренний час.  
Мир меняется к лучшему, но незаметно для нас.

Незаметно для нас. Незаметно для нас? Почему же?  
Далай-Лама глядит — и становится ясно, что хуже  
Было раньше, чем нынче, — еще бы, ему ли не знать!  
А иначе зачем бы рождаться опять и опять...

2 0 0 4

\* \* \*

Посчастливилось плыть по Оке, Оке  
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,  
И, представь себе, пели по всей реке  
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.  
Я не знал, что такое возможно, — мне  
Представлялся фантазией до тех пор,  
Поэтическим вымыслом, не вполне  
Адекватным реальности, птичий хор.  
До тех пор, но, наверное, с той поры,  
Испытав потрясенье, поверил я,  
Что иные, нездешние, есть миры,  
Что иные, загробные, есть края.  
И, сказать ли, еще из густых кустов  
Ивняка, окаймлявших речной песок,  
Долетали до слуха обрывки слов,  
Женский смех, приглушенный мужской басок.  
То есть голос мужской был, как мрак, басист,  
И таинственной был женский смех, чем днем,  
И, по здешнему счастью специалист,  
Лучше ангелов я разобрался в нем.  
А какой это был, я не помню, год,  
И кого я в разлуке хотел забыть?  
Назывался ли как-нибудь пароход,  
«Композитором Скрябиным», может быть?  
И на палубе, верно, была скамья,  
И попутчики были, — не помню их,  
Только путь этот странный от соловья  
К соловью, и сверканье зарниц ночных!

2 0 0 1

## НАШИ ПОЭТЫ

Конечно, Баратынский схематичен.  
Бесстильность Фета всякому видна.  
Блок по-немецки втайне педантичен.  
У Анненского в трауре весна.  
Цветаевская фанатична муза.  
Ахматовой высокопарен слог.  
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса  
Недостает: болтливость — вот порок.  
Есть вычурность в строке у Мандельштама.  
И Заболоцкий в сердце скуповат.  
Какое счастье — даже панорама  
Их недостатков, выстроенных в ряд!



МОЭМ

Лидия Гинзбург

Дмитрий Лихачев

Людмила Петрушевская

Анатолий Чубайс

ПЛОТ

## Лидия Гинзбург

Последняя книга Александра Кушнера «Дневные сны», так же как и предпоследняя — «Таврический сад», воспринимается как единый поток. В более ранних его книгах присутствовало единство авторского взгляда и тона, но они в гораздо большей степени были книгами отдельных, отчетливо очерченных стихов. «Дневные сны» не собрание стихотворений, а именно книга — органическая связь, не событийная, но внутренняя связь специфически поэтического сюжета. Преобладающая ее тематика — красота жизни, счастье жизни, постигаемой в таких ее проявлениях, как природа, творчество, культура, человеческие отношения.

Настоящая лирика всегда была разговором о жизненных ценностях, своего рода экспозицией ценности. Но в лирике нового времени, особенно любовной (ее вечный прототип — сонеты Петрарки), установилась традиция изображения ценностей, ускользающих от человека, утраченных им или ему недоступных. В искусстве существует глубокая соотнесенность между жизнеутверждающим и трагическим. Потому что трагедия — это всегда коллизия утраченной ценности, и без утверждения ценностей и высших для человека целей трагическое переживание невозможно.

С конца XVIII века на несколько десятилетий основной формой интимной лирики становится элегия с ее обязательной тематикой неблагополучной любви, разлуки, быстротечности жизни и ее радостей. Таким образом, основная лирическая форма уже по самым своим жанровым условиям предполагала меланхолическую тональность. Но и в позднейшей, уже внежанровой лирике редко писали о счастливой любви — эта тема не имела традиции. В сборнике «Сестра моя жизнь» Пастернак прямо говорит о счастье жизни, но любовь и в этой оптимистической книге конфликтна, неблагополучна.

Вразрез с господствующей традицией лирики Кушнер в «Дневных снах» пишет о счастливой любви. Но любовь эта у него тревожна. Счастливая любовь, как всякое счастье и красота, конечна; они принадлежат миру, которому присущи опасности, трудности и противоречия. Это чувство то просвечивает сквозь текст стихов, то прямо в них названо:

Страх и трепет, страх и трепет, страх  
За того, кто дорог нам и мил...  
С самой жаркой, кровной стороны,  
Уязвимо-близкой, дорогой —  
Как мы жалки, не защищены,  
Что за счастье, вечный страх какой!

«Дневные сны» рассказывают о счастье жизни и о неутихающей за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая напряженность. В ней осуществляется взаимосвязанность жизнеутверждающего и трагического. Изображенный в книге человек радость данного ему мира приемлет как потенцию, как вечно присутствующую возможность, которую надо достигать, добывать и в борьбе с самим собой.

Настойчивое жизнеутверждение включает книгу Кушнера в круг проблематики очень современной. Индивидуализм XIX и особенно XX века последовательно вел к отрицанию смысла существования, обреченного смерти. В своем логическом развитии индивидуализм, как известно, уткнулся в абсурд, стал культурно непродуктивным.

Именно в мире, исполненном конфликтов и опасностей, таящем угрозу атомного уничтожения, насущнейшим оказался вопрос, почему, вопреки индивидуалистической логике тщеты и бессмысленности, человек продолжает любить, творить, радоваться существованию... Вопрос оправдания жизни, ее защиты.

В «Дневных снах» самый факт жизни уже чудесен («Обычной жизнью названное чудо...»). Существовать — несмотря на подстерегающие страдания — это удивительная удача, выпавшая на долю человека; пусть она и не может длиться вечно («Нам приглашенный билет на пир вручен. Нас просит облако дожить до юбилея...»). Но понимание это дается долгим и трудным опытом.

Смысл жизни — в жизни, в ней самой.  
В листе, с ее подвижной тьмой,

Что нашей смуте неподвластна,  
В волненье, в пенье за стеной.  
Но это в юности неясно.  
Лет двадцать пять должно пройти.  
Душа, цепляясь по пути  
За все, что высылось и висло,  
Цвело и никло, дорости  
Сумеет, нехотя, до смысла.

Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия.

Автор «Дневных снов» наделен повышенной остротой восприятия. Он сам говорит о тонком слухе, который «улиткой был завит», об осязании, которое «...любовно льнуло... к поверхностям...». Но в стихах Кушнера мы имеем дело не с бездумным восприятием чувственного мира, а с реакцией на него, претворенной в познание, в поэтическую концепцию.

Ей, мысли, нужно раздражение,  
Телесный нужен отголосок...  
...Сердцебиение, дыхание,  
Мысль дремлет без их учащенья.  
Среди безвкусного питания  
Она так любит угощенье  
Объемом, запахом, осязание...

Восприятие, даже ощущение питает мысль. Мир вещей, природы, эмоциональных отношений для социального человека — это мир исторический, социально оформленный, интеллектуально переработанный. Кушнер в своей поэзии идет индуктивным путем — от частного и резко конкретного к поэтически обобщенному, экзистенциальному. Вот почему он может сказать о себе:

Я не вещи люблю, а предметную связь  
С этим миром, в котором живем.

Предметная связь (название одного из разделов книги) — это также и связь предметов между собой, их пересечения в уподоблениях поэта. Так, например, подробно показанное картофельное поле уподобляется вдруг у Кушнера морю, тоже очень предметно воспринятому.

Для Кушнера интеллектуализация материального мира — это непрерывный труд поисков наиболее точного слова.

...Видишь: я рад перерыть  
Перетряхнуть наш словарь, выбирая  
Определения. Господи, быть  
Точным и пристальным — радость какая!..  
...Видишь ли, я не считаю, что нет  
Слов, я и счастья без слов бы не понял.

Счастье, утверждает поэт, реализуется в познавательной форме — в слове. Только словом можно остановить текучее настоящее, и оно же — слово — всегда обобщение. Такова диалектика слова.

В поэзии Кушнера устойчивое интеллектуальное начало связано с особым его отношением к явлениям культуры. Кушнера иногда даже упрекают в литературности, книжности. Но противопоставление литературы и жизни в принципе неправомерно.

Культура — это историческая форма действительности, литература (настоящая, конечно) — один из аспектов самой жизни. Есть произведения, которые мы только читаем, а есть такие, с которыми мы живем. Включенные в сознание, они всплывают по разным, непредсказуемым поводам, интерпретируя факты жизни. Именно таковы многочисленные культурные реминисценции Кушнера, его явные и скрытые литературные цитаты. Кушнер не пишет стихи в специально историко-культурном жанре. Культура свободно проникает в разные пласты его поэтического языка, в том числе и в самый бытовой, разговорный пласт.

В книге «Дневные сны» ряд стихотворений посвящен морю — пристально рассматриваемому, прекрасному и мощному. Но есть у Кушнера и интимное пляжное море. Оно отражалось в бутылках пляжного буфета, «лезло» в зеркальце, которое женщина вынимает из сумочки. И тут же в этот словесный ряд вступают подobaющие морю напоминания о грандиозном. Гомер («Где Одиссей? Удивлялось: когда это было!»), Пушкин («Всех уто-

пить? Или все-таки слушать пластинку...»). Здесь реминисценция пушкинской «Сцены из «Фауста»» (у Пушкина — «Всё утопить»). Она несет в себе динамику многообразных смысловых наслоений, образовавшихся вокруг каждого пушкинского текста; она раздвигает, ломает контекст.

С ролью культурных реминисценций, вообще категорий культуры в поэзии Кушнера связано распространенное восприятие его стихов как ориентированных на классические образцы русского XIX века. Но «классичность» поэта наших дней напрасно понимают иногда как повторение, воспроизведение. Воспроизводить через полтора десятка лет фактуру стиха пушкинской поры могут только эпигоны. Кушнер не изобретает стиховые формы, слова, но он изменяет их значение новым принципом смысловых связей. Он современный поэт, приобщенный к открытой XX веком повышенной суггестивности слова. Суггестивность — это и развертывание смыслового звена в неожиданную семантическую цепочку, и пропуск логических звеньев — внушение читателю неназванных представлений.

У Кушнера, разумеется, есть ассоциативные ходы и метафорические аспекты вещей, но не это основное для его поэтики. Для нее характернее взаимодействие, динамическое рядоположение слов, преобразованных контекстом. Поэтому Кушнер любит называние вещей, перечисление, нагнетение лексически подобных определений. Поэтому ему часто нужен объемный синтаксис — фраза, охватывающая строфу.

Стихи Кушнера живут не метафорическими изменениями, но скрещиваниями и переживаниями значений, сохраняющих предметность, свой первичный логический смысл. Такова одна из возможностей современного поэтического языка с его подспудными соотношениями слов. В «Дневных снах» стиховая символика, минувшая и открытую метафоричность, и обнаженную сюжетную связь, ушла в глубину текста.

Поэтические средства Кушнера современны потому, что они призваны выразить современную авторскую позицию — в принципе не романтическую. Романтизм насчитывал множество разновидностей, но их объединяло ключевое положение авторской личности, воспринимаемой как личность поэта.

В «Охранной грамоте» (1930) Пастернак, вспоминая 1910-е годы, писал о «романтической манере», с которой он сознательно расстался, — «это было понимание жизни как жизни поэта». Такое понимание Кушнеру чуждо. В своих стихах он никогда не называет себя поэтом. Он осознает свою жизнь как жизнь человека среди подобных ему людей, своих современников.

## Дмитрий Лихачев

Существует два поэтических отношения к миру: одно — полное самораскрытие и самоотдача, а второе — как бы объективизация этой самоотдачи, введение собственного чувства в рамку некоей поэтической картины, существующей вне поэта. Это последнее — объективизация — сродни некоторой иронии, отстранению от изображаемого в стихах и от самих стихов. В ранних стихах Александра Кушнера такое легкое ироническое отношение к своей теме постоянно присутствует. Оно, конечно, не столь резкое, как в «Столбцах» Николая Заболоцкого, но оно все же есть. «Графин», «Рисунок», «Над микроскопом», «Шашки» — эти темы поэт выбирает словно бы для того, чтобы учиться видеть мир, как учится на натюрмортах зрелый художник.

Сам Кушнер вспоминает:

И критик шелковый  
Обозначал мой крен:  
Ларец с защелками  
И Жан Батист Шарден.  
Все это схлынуло.  
Стакан, графин с водой  
Жизнь отодвинула  
Как бы рукой одной...

И в самом деле: со временем сквозящее во всем его пристрастии к «натюрмортам» ироническое отношение к своим стихам, своеобразная стыдливость быть поэтом становились все менее заметны. (...)

Бывает, что вокруг поэтов складываются мифы. Кто-то придумывает исходную тему, она постепенно разрастается и обволакивает истину, которую становится трудно разглядеть.

Об Александре Кушнере пишут много, интересно. Однако довольно часто звучит мотив: Кушнер типично ленинградский поэт, а Ленинград — это город строгих дворцов, крепких ветров, город, застегнутый на все пуговицы. Город прямо держится в своих проспектах и улицах, а поэт бродит по нему в официальном черном костюме, классический и традиционный.

Кушнер, конечно, ленинградец. Да Ленинград не совсем такой, каким представляют его себе неленинградцы. Наш город — это особая и далеко не простая тема. Его прошлое содержит немало классических трагедий, — трагедий, разворачивающихся на фоне классической архитектуры. И он отнюдь не только европейский город, он стоит на перепутье между Европой и Азией. Среди прямых улиц выются каналы, среди дворцов и особняков лепятся друг к другу доходные дома. С «Медным всадником» соседствует «Пиковая дама», а далее следуют «Идиот» и «Поэма без героя».

Поэт открывает в городе совсем не то, что, например, замечает в нем приезжий: не только прямоту улиц, но также их кривизну и беспорядочность; не только проспекты, но и переулки; не одну Неву, но и каналы, и речки. Для Кушнера и Эрмитаж — это не столько музей знаменитейших французских полотен и «Мадонны Литты», сколько «малых голландцев» и не всегда известных широкому зрителю рисунков французских старых мастеров XVII века. (...)

Лирический сюжет в стихах Кушнера прочно прикреплен к сегодняшнему городскому пейзажу и немислим без него. По этим улицам мы ходим, в этих старых и новых районах живем. Поэту дороги и «здание Главного штаба», похожее «на желтой бумаги рулон», и трамвай, въезжающий «в жилмассив, где мириады высвечены окон», он «коллекционирует» «влажные ленинградские окна» в квартирах своих знакомых и друзей, выходящие на Марсово поле, на Карповку, «на Лиговку, на порт, на новостройку за ласковой Поклонной горой...». Человек в этих стихах живет не вообще в городе, а постоянно осознает свое точное местоположение в городском пространстве, в любую минуту своей жизни точно знает, где он находится (и в самом деле, это свойство так знакомо всем горожанам): в Таврическом саду, или «на узком Банковском мосту с настилом деревянным», или «меж Невкой и Невой, вблизи трамвайных линий и мечети». Подробности делают поэзию убедительной. Человек в сти-

хах Кушнера не представляет себе жизни и судьбы вне этих конкретных, любимых с детства реалий. (...)

Характерно, что в поэзии Кушнера как будто совсем нет лирического героя. Пишет он не от лица вымышленного персонажа и даже не всегда от своего имени. В одном и том же стихотворении он говорит о себе то в первом лице единственного числа, то в первом лице множественного, то во втором, то в третьем лице единственного: «Я люблю эти иглы, веселый морозный ожог...», «...а сегодня попробуем мы ни о чем не тужить и зимой насладиться суровой...», «Так страхни ж этот снег и, перчатку надев, помолчи. Не всегда говорит, иногда и разумный — бормочет». Это поэзия и от лица других и для других.

Позволю себе привести здесь одно слышанное мною высказывание: «Любой жест, любое действие в стихах Кушнера может быть присвоено читателем, на которого, как на своего двойника, хочет походить автор. Он не только не ощущает своей исключительности и не стремится противопоставить себя людям, а, напротив, видит себя человеком в уличной толпе, окликнутым для того, чтобы выразить мысль и чувство каждого». (...)

Если спросить все же — в чем состоит содержание поэтического одухотворения мира в поэзии Кушнера, то ответить на этот вопрос исчерпывающе невозможно. Поэзия говорит своим языком, не переводимым на другой язык. Можно заметить в ней только отдельные темы — излюбленные, часто встречающиеся, делающие поэтический язык глубоко индивидуальным. Чем глубже поэзия — тем она менее переводима и определима. Кушнер последних, лучших своих книг «Голос» и «Таврический сад» далеко ушел от своих первых стихов, тем не менее сохраняющих для нас свое обаяние.

Главное все же, я думаю, в поэзии Кушнера — его поразительная наблюдательность. Не случайно, размышляя о смерти, которая никого не минует, он просит ее оставить ему только одно — способность видеть.

Когда когда-нибудь со мною,  
Небытие, случисься въявь,  
Сотри, смешай меня с землею,  
Но зренье, зренье мне оставь!

Повторяю, про Кушнера много было сказано верного и прежде всего то, что он — интеллигент в самом высоком смысле этого слова. Он не только человек обширных зна-

ний — он способен вчувствоваться, способен к перевоплощению, его стихи растут не на голой почве, своими корнями они уходят в культуру прошлого. Кушнер ощущает свою связь с поэтами-предшественниками. В его стихах слышны отзвуки былых поэтических образов, трансформированные и удаленные. Традиция для него — не трафарет для следования, а стимул и импульс творчества, обогащающий его, необходимый для создания нового поэтического мира.

Начав с объективации своего отношения к миру в различных обрамлениях, Кушнер в конце концов пришел к мудрым самораскрытиям — самораскрытиям необычайной смелости. Вот когда поэзия лирических стихов, не поэм, не описаний, становится кратчайшим расстоянием между поэтом и его читателем (именно читателем, ибо громко декламировать его стихи нельзя: Кушнер не для эстрады). (...)

Отказываясь писать большие поэмы, Кушнер заявил:

Кратчайший путь — стихотворение  
Меж нами...

Этот «кратчайший путь» к сердцу читателя он нашел не только благодаря отказу от поэм и всех других жанров словесного творчества, но и в результате преодоления «иронии натюрморта», укрепления связи с поэтической традицией, переосмысления окружающей действительности.

Кушнер не склонен к декларации и патетике. Но его поэзия стоит на страже нравственности и добра, она нравственна в своей основе, ибо демонстрирует прежде всего добросовестнейшее отношение к поэтическому слову. (...)

Связь с поэтической традицией, с мировой культурой тем плодотворней, чем сильнее стихи связаны с современностью, чем современней их собственное звучание. Стихи Кушнера живут в сегодняшнем дне, они не могли быть написаны в другое время:

...Каким я древним делом занят! Что ж  
Все вслушиваюсь, как бы поновее  
Сказать о том, как этот мир хорош?  
И плох, и чужд, и нет его роднее!

А дева к уху трубку поднесла  
И диск вращает пальчиком отбитым.  
Верти, верти. Не меньше в мире зла,  
Чем было в нем, когда в него внесла  
Ты дивный плач по храбрым и убитым...

Дева, вращающая телефонный диск «пальчиком отбитым», — это муза. За таким сегодняшним занятием мы застаем ее в этих стихах, но волнует ее все то же: защита добра, память о храбрых и убитых.

Мир предстает в стихах Кушнера не упрощенным, не сглаженным, он требует от человека мужества в отстаивании добра и общечеловеческих ценностей.

...Мигают звезды на приколе.  
Россия, опытное поле,  
Мерцает в смутном ореоле  
Огней, бегущих в стороне.  
О чем ночные наши мысли?  
Боюсь сказать: о смысле жизни.  
Но жизнь, в каком-то главном смысле,  
Акт героический вполне.

Для поэта век, в котором он живет, страна, в которой он живет — то есть время и пространство, данные ему от рождения, — дороги и насущно необходимы. Они питают его поэзию, они требуют от человека напряжения всех духовных и творческих сил.

Кушнер — лирик, гражданственность и нравственность его поэзии не вынесены в отдельные стихи, не выпадают в осадок, — они проявляются в его стихах естественно и произвольно. В стихотворении о любви он скажет: «И в следующий раз я жить хочу в России», а в стихах о бабочке, сложившей крылья, заговорит о нравственности и добре:

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.  
Совершенное втайне, оно совершенно темно.  
Не оставит и щелку,  
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Настоящая поэзия не может не быть жизнеутверждающей — ведь она укоренена в жизни, всем обязана ей. Но жизнеутверждающая ее сила убеждает нас лишь в том случае, если поэзия знает о всей сложности и трагичности жизни, не закрывает на них глаза, живет с открытыми глазами. Именно в этом смысле поэзия Александра Кушнера — жизнеутверждающая поэзия.

Поэзия не только убеждает человека в возможности счастья («О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка, шелка нежней, бархатистого склона покатай!..»), она и сама вносит счастье в мир. При этом она создает некий «прибавочный элемент» к нашему восприятию действительности, расширяет диапазон наших наблюдений — наблюдений особого свойства, совершенно бескорыстных, не имеющих непосредственного практического применения. Она учит нас по-новому видеть окружающее. И чем шире простирается содержание поэзии, захватившей нас, тем богаче наш опыт, способность к одушевленной ориентации в жизни, тем богаче наша жизнь, тем она значительнее и... радостнее, несмотря на беды, которые она, бывает, приносит. Любовь, природа, любимый город, родная земля, книги, искусство, человеческое достоинство, доблесть и честь, открытость добру — все это неопровержимые доводы поэзии в пользу жизни.

...Счастлив тем,  
Что жил, при грусти всей,  
Не делая проблем  
Из разности слепой  
Меж кем-то и собой,  
Настолько был важней  
Знак общности людей,  
Доставшийся еще  
От довоенных дней...

Под «знаком общности людей» и пишутся эти стихи, обеспечивая им сочувственный читательский отклик. Кушнер — поэт жизни, во всех ее сложнейших проявлениях. И в этом — одно из самых притягательных свойств его поэзии.

## Людмила Петрушевская

Для русских читателей имя Кушнера — это шифр, код, даже больше: это личное переживание. Произносится пароль «Кушнер» — и с тобой говорят уже стихами, целыми строфами. Вы будете поражены, как много людей знает наизусть Александра Кушнера. Скольким читателям его стихи — это повод для размышлений, безмолвных бесед с автором, причина слез и благодарных чувств. Ибо слезы, непролитые, стоящие в горле, чаще всего причина его творчества.

В стихах Александра Кушнера — безнадежная, светлая любовь к жизни, к мельчайшим ее подробностям, любовь к любви и нежности, учительское, ученое знание не только мировой культуры, но и людей (которые в ином контексте носят имя «изначально погибших созданий») — и при этом чувствуется некая демиургическая позиция автора, которая по плечу немногим: всегдашнее прощение и сострадание, даже умиленность перед всем, что цветет и должно быстро уйти.

Но стихи, настоящие стихи, как выяснилось, так просто не уходят, и настает мгновение, и тот, кто знает шифр или код, раскроет книгу и получит послание, адресованное лично ему, получит этот луч любви, услышит как свою ту вечную мольбу — «помедли, жизнь».

Не хуже скупого рыцаря Кушнер ведет реестр-перечисление своих богатств, всегдашний список, в попытке сохранить даже самое простое и бесхитрое, как будто это может задержать убийственное течение времени. И всегда присутствующая умная, горе-

стная, мужественная мысль как бы последним лучом пронзает всю эту сокровищницу, освещая каждый раз всё новые и всё более важные вещи, всё более ускользающие.

Список кораблей, которые не вернутся...  
Хочется добавить еще и слово «верность».

Это не та знаменитая питерская мужская верность дружбе, поэзии, образу жизни, счастью высокой ответственности. Нет, это другое: верность своему, описанному еще Сократом, «демоню отрицания». Бережность поступков, скорее «нет», чем «да» себе самому. Это верность обитателя бедных мест, который сделал их бесценными своей любовью. Это верность избранных, которые живут жизнью отвергнутого и погибающего большинства, делая вид, что у всех одна судьба, хотя бы в смысле частоты солнечных дней.

Как говорится в индийских источниках, самые великие проходят свой путь неузнанными.

Мы переживаем редчайший случай обратного варианта.  
Мы вас любим, Саша.

## Анатолий Чубайс

*Не могу оценивать творчество Александра Семеновича Кушнера так, как это делают специалисты. Могу лишь сказать, что из пишущих сегодня по-русски поэтов он для меня — один из самых близких. Его интонацию — совсем не пафосную, почти повествовательную, очень человеческую — с годами начинаешь ценить выше и выше. Это, казалось бы, совсем далеко от перипетий нашей бурной политической жизни последних полутора десятилетий — а в действительности именно Александр Семенович Кушнер, как мало кто из лидеров нашей интеллигенции глубоко и точно понимает, что, собственно, произошло в стране, что все эти годы делаем мои товарищи и я сам.*

Мне нравятся чужие «мерседесы»  
Я, проходя, любуюсь их сверканьем.  
А то, что в них сидят головорезы,  
Так ведь всегда проблемы с мирозданьем, —

*с такой пронзительной терпимостью, глубиной и самоиронией понимает наш мир только Кушнер.*

*И еще об одном — может быть, самом поразительном в этом человеке. Для меня Александр Кушнер был частью той микроскопической группы российских литераторов, которая каким-то сверхъестественным образом сумела сделать невозможное — сохранить наш язык. Вместе с великими Ахматовой, Пастернаком, Бродским — они сделали это в прямом противостоянии с колоссальной системой, низводившей великий русский язык до омерзительного советского новояза. Цена, заплаченная за это — сломанные судьбы, пережитые кампании «всемирной» травли, высылка из страны, аресты близких — по-настоящему известна только им самим. Нам же, сегодняшним гражданам страны, мучительно постигающей азы свободы, надо низко поклониться Александру Семеновичу Кушнеру и его товарищам и сказать слова великой благодарности и неизменно уважения.*



**П о п е ч и т е л ь с к и й   с о в е т**  
**общества поощрения русской поэзии**

**Ж ю р и   Р о с с и й с к о й**  
**национальной премии «Поэт»**

- *Андрей Юрьевич Арьев* — критик, соредактор журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Дмитрий Петрович Бак* — критик, доктор филологических наук, профессор РГГУ;
- *Николай Алексеевич Богомолов* — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики МГУ;
- *Яков Аркадьевич Гордин* — писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Павел Михайлович Крючков* — критик, член редколлегии журнала «Новый мир»;
- *Александр Васильевич Лавров* — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург);
- *Самуил Аронович Лурье* — критик, член редколлегии журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Андрей Семенович Немзер* — критик, кандидат филологических наук, обозреватель газеты «Время новостей»;
- *Владимир Иванович Новиков* — критик, писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ;
- *Ирина Бенционовна Роднянская* — критик, член редколлегии журнала «Новый мир»;
- *Сергей Иванович Чупринин* — доктор филологических наук, профессор Литературного института, главный редактор журнала «Знамя».